

И покуда не поймешь:
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.

Гене

ДЕНЬ ЗЕППА ТРАУТВЕЙНА НАЧИНАЕТСЯ

Осторожно доставая из ящика бумагу и карандаш, чтобы записать родившуюся в нем мелодию, он нечаянно сбрасывает книгу с шаткого, сильно загроможденного письменного стола.

— Ах, будь оно неладно! Анна, конечно, проснулась.

И действительно, с кровати доносится ее голос:

— А который теперь час?

— Двадцать семь минут седьмого, — точно докладывает он с раскаянием в голосе. Но Анна не сердится, что он ее так рано разбудил. Она лишь деловито замечает, что вряд ли теперь уснет и, пожалуй, самое лучшее — позавтракать вместе с сыном.

Иозеф Траутвейн, тихонько насвистывая сквозь зубы, быстро, не без удовольствия записывает несколько тактов. И снова ложится. Глядя, как он проходит, шаркая, по комнате, вряд ли кто найдет его красивым: костлявое лицо, глубоко сидящие глаза, густые, уже поседевшие брови, грязноватая щетина на щеках; одна штанина пижамы завернулась, обнажив худую, поросшую седовато-черными волосами ногу. Но Анна, которая прекрасно видит убожество унылого номера гостиницы, не замечает, что Иозеф Траутвейн, ее Зепп, тут, в Париже, в условиях жалкого эмигрантского прозябания, уже не тот статный мужчина, каким он был в Мюнхене, где пользовался всеобщей любовью. В глазах Анны он не изменился. В ее глазах он, сорокашестилетний отставной профессор музыки, все так же лучезарно молод, как в пору их первой встречи, все так же красив, мужествен, полон сил, жизнерадостен, уверен в успехе. В сущности, она довольна, что своей неловкостью он разбудил ее; полчаса они побудут вдвоем, а потом уж мальчик перед уходом в лицей, как всегда, сядет с ними завтракать.

При свете зарождающегося дня, в котором все отчетливее проступают теснота и убожество комнаты, Иозеф Траутвейн, поса-

пывая от удовольствия, снова забирается под одеяло. Анна пользуется случаем, чтобы потолковать с ним о своих планах на сегодня. Доктор Вольгемут обещал отпустить ее ровно в двенадцать, она хочет снова сходить к господину Перейро и попросить его как-нибудь продвинуть в дирекции радиовещания их дело. Эти проволочки возмутительны: вот уже два месяца, как дирекция обещала Перейро принять для исполнения ораторию Траутвейна «Персы». Понятно, что для преодоления всех бюрократических препон нужен срок, особенно когда дело касается германского эмигранта. Но это уже так давно тянется, а было бы желание, все давно бы устроилось.

Иозеф Траутвейн слушает без особого интереса. Ему жаль, что Анна, и без того работающая через силу, тратит столько энергии на то, чтобы добиться передачи «Персов» по радио. Его самого это мало занимает. Он не любит радио; радио — суррогат, оно все искажает. Да и слушатели все равно ничего не поймут в оратории «Персы», до широкой публики такая музыка еще не доходит; дирекция радио вполне права, что медлит с решением. К тому же он не считает ораторию законченной; еще немало времени пройдет, пока он ее отработает до последней черточки. Что ж, тем лучше, спешить ему некуда, работа его радует. В сущности, он заранее с грустью думает о том времени, когда поставит точку.

Слушая Анну, он возвращается к мелодии, которую раньше нашел, к нескольким тактам, передающим отчаянный горестный вопль отступающих, побежденных персов. В то же время он прислушивается к звуку Анниного голоса. Голос спокойный, приятный, он очень его любит. То, что этот голос произносит, не так интересует его. Бедная Анна. Несомненно, она предпочла бы говорить с ним о его музыке; в Германии его интересы поглощали ее целиком. Она, конечно, не хуже его знает, что радио — только суррогат. Но у нее просто нет времени говорить с ним об этих вещах, для нее таких же существенных, как и для него. На ней лежит все бремя мелких будничных забот; не удивительно, что Анна прежде всего говорит о них. Но это всегда монолог — сам он ничего в них не смыслит. Впрочем, как ни сложны на первый взгляд всякие мелочи, в конце концов, если вооружиться терпением, все выходит само собой. Верно, в Париже у него нет ни имени, ни связей, да и с деньгами туговато — гнусно, что Анна ради

каких-то нескольких сот франков день за днем изводится у несносного доктора Вольгемута. И все же им живется лучше, чем многим и многим эмигрантам. Конечно, красивый и удобный дом, который пришлось бросить в Мюнхене, приятнее, чем эти две унылые комнаты в гостинице «Аранхуэс», где он теперь ютится с Анной и сыном. Но они вместе и все здоровы. И здесь, в Париже, как и в Мюнхене, с ним неразлучна его музыка, есть у него и письменный стол, и даже пианино — он может работать. Разумеется, он предпочел бы, обдумывая что-нибудь серьезное, бродить вдоль берегов Изара, а не по набережным Сены, но, в конце концов, и на Сене людям кое-что приходит в голову, да и Анна с ним — его самый лучший, самый чуткий слушатель.

Вдобавок у него есть еще и политика. Зепп Траутвейн по природе своей человек аполитичный, музыкант и только. Но суровый опыт научил его, что нельзя творить музыку вне политики. Нападки, сыпавшиеся на него все последние годы в Германии, оттого что он боролся за реформу музыкального воспитания; трудности, которые чинили ему, когда он в Мюнхенской музыкальной академии излагал свои «большевистские взгляды на культуру», — все это показало ему, как тесно переплетены искусство и политика. Хорошая музыка и плохая политика несовместимы — это не поверхностный взгляд, эта мысль вошла у него в плоть и кровь. Гендель, Бетховен, даже Вагнер мыслятся им теперь только как революционеры; уже самые их устремления в музыке подводили их к политике. Нельзя увильнуть от политики, если хочешь, чтобы искусство твое не страдало. Его музыка, во всяком случае, может звучать только в чистой атмосфере. А если чистой атмосферы нет, значит ее надо создать. Как угнетало его все эти последние годы, что в качестве профессора государственной академии, чиновника, он не смел со всей откровенностью громить поднимавшее голову варварство. Здесь, в Париже, он по крайней мере пользуется этой свободой.

Нет, вообще говоря, могло быть много хуже. «Аранхуэс» — так называется гостиница, в которой они живут; и почти никто из их гостей не упускает случая продекламировать шиллеровские строчки о «прекрасных днях Аранхуэса». Но сам он если и посмеивается над этим замызганным «Аранхуэсом», то без всякой злобы, добродушно.

Анна заметила, что Зепп почти не слушает того, что она толкует ему о радио. Но она привыкла к его рассеянности.

— Тебе следовало бы как-нибудь заглянуть к Перейро, — говорит она чуть-чуть резко. — Не так легко найти друзей на чужбине, а уж таких, которые тебя поддержали бы, и подавно. Перейро — люди влиятельные и ведут себя прилично. Их не следует отталкивать от себя.

— Ты ведь знаешь, — сердито говорит он, — как мне противно ходить на поклон. Я не выношу меценатства. Если на радио что-нибудь выйдет, *tant mieux*, тем лучше. Не выйдет — тоже не беда. — Еще не dokonчив своей ворчливой реплики, он уже жалеет о ней. Анна из кожи лезет вон, чтобы все устроить; ему следовало бы это ценить.

— Вздор, — говорит она без всякой обиды, но решительно, — ты прекрасно знаешь, какой это будет удар, если дело сорвется. — Она, конечно, имеет в виду и гонорар.

Он миролюбиво бормочет что-то. Это можно принять за согласие. Но про себя думает, что прав все-таки он и что, в конце концов, он своим южногерманским благодушием добьется больше, чем она своей прусской напористостью.

Некоторое время оба лежат молча. Он часто ей уступает, но она знает, что это от лени: он не любит спорить. Вернее всего, он и в следующий раз, когда она заговорит об этой радиопередаче, будет отвечать так же рассеянно, наобум. Да, с ним нелегко. Он ужасно упрям, настоящий мюнхенец, он просто не желает понять, что без энергичных усилий положения здесь не завоюешь. Да и Перейро тоже скоро наскучат ее вечные просьбы. «*I am sick of it*»¹, — ответил недавно один лорд-еврей ее знакомому, когда тот в тысячный раз пришел что-то кланяться у него для немецких эмигрантов.

Перейро — очень милые люди, они ценят искусство, они крайне добродушны. Но их осаждают со всех сторон; не удивительно, если в конце концов им надоест постоянно заступаться за антифашистских эмигрантов. И если бы они предпочли помогать евреям, то и за это их нельзя было бы винить, а они, Траутвейны, не евреи.

¹ Я сыт этим по горло (*англ.*).

Быть может, она все-таки напрасно не зашла вчера покрасить волосы. У Перейро ей надо хорошо выглядеть. Но ее бюджет рассчитан до последнего сантима: из чего ей урвать эти тридцать франков? Можно бы самой покрасить волосы. Но никак не выгадаешь время, да и все равно не то будет. А может быть, даже к лучшему, что в волосах у нее поблескивает седи́на. Жена уже начинает ревновать.

Зепп-то вряд ли замечает, какие у нее волосы, — темно-каштановые, как им полагается, или с сединой у пробора. Он привязан к ней, как и в первый день, но уже не видит, хороша ли она. Анна и довольна, что он не замечает, как черты ее широкого чеканного лица расплываются, а сияющие глаза, которыми она славила́сь, тускнеют, — и как будто все же не совсем довольна.

Все мы стареем, но сейчас ей особенно некстати, что ее цветущая пора миновала. В Мюнхене, в Берлине ей, красивой женщине, часто удавалось исправить многое, что Зепп, бывало, напортит, стоило лишь мило улыбнуться или даже чуть-чуть пофлиртовать с кем надо. Зепп столь же непрактичен, сколь талантлив, он не раз губил самые лучшие возможности. Сколько шуму бывало, сколько неприятностей из-за одних только его политических разговоров. Ей приходилось обивать пороги, смягчать, сглаживать. Здесь, в Париже, ей тем более надо блистать, пленять, иначе ничего не добьешься. Но два года эмиграции красоты ей не прибавили. Крепнись, стараешься сохранить юмор — и все же чертовски трудно не подавать виду, что хотелось бы скрежетать зубами, когда надо мило, по-дамски улыбаться.

Хорошо, что Зепп не так уж трагически воспринимает изменявшиеся условия. Он чувствует убожество их повседневной жизни, лишь когда это его непосредственно задевает. То, что они катятся вниз, — для него «чепуха», тщеславие ему чуждо. Еще в Мюнхене он потешался над тем, что его величали профессором.

Вот он лежит, повернув к ней худое, костлявое, небритое лицо, слегка улыбающееся, довольное. Пожалуй, он чувствует себя здесь счастливее, чем в Германии; здесь меньше суетни, больше времени для настоящей работы, для музыки. Она понимает это прекрасно, она верит в его музыку и убеждена, что нужно делать то, к чему ты призван, пусть это материально и не оправдывает-

ся. Но все же какая обида, что этот талантливый человек, ее Зепп, по-видимому, обречен теперь работать впустую. В Германии он имел успех даже среди широкой публики; его «Оды Горация» исполнялись во всех концертных залах. Там резко нападали на «большевика от культуры», но у него было несколько фанатичных почитателей, в их числе и очень влиятельные люди, например дирижер Риман. В Германии «Персы» пошли бы в отличном исполнении, возможно в Филармонии. А тут радуйся, если выгорит эта сомнительная радиопередача.

Ей нравится его равнодушие к перемене их положения, но оно не совсем ей понятно. Может быть, все дело в том, что Зепп уже в детстве и юности познал нужду, тогда как она росла легко и привольно. Когда она говорит, что они скатились вниз, он ласково слушает ее, как взрослый ребенок. Неужели он не находит ничего унижительного в том, что он, Зепп Траутвейн, вынужден за ничтожную плату вдалбливать слушателям Парижской музыкальной академии правильное немецкое произношение в вокальных партиях с немецким текстом? И что ему приходится считать благодеянием, если маленькая эмигрантская газетка «Парижские новости» заказывает ему статьи, за которые платит по несколько франков?

Все было бы легче, если бы она могла по крайней мере по-прежнему приобщаться к его работе, к его музыкальному творчеству. В Германии он играл ей свои вещи, обсуждал с ней все мельчайшие детали, и хотя у нее нет достаточной подготовки, чтобы все понять, чутье-то у нее есть, она улавливает, чего он добивается, и, конечно, не из простой влюбленности он сотни раз уверял ее, что она его музыкальная совесть. Не всегда критика сходила ей с рук. Он и сам взыскателен к себе, но порою, когда она уж очень допекала его и все выражала недовольство, все придиралась, уверяя, что надо еще доделать то или другое, — так было, например, с «Четырнадцатой одой Горация», — он приходил в бешенство и отчаянно бранился. Но под конец он почти всегда вновь брался, ворча, за работу, и оказывалось, что не напрасно. Хорошие это были часы, когда они работали вместе, испытывая чувство нераздельной близости. Теперь же, вместо того чтобы участвовать в его работе, ей приходится каждый день за ничтожные гроши изводиться у доктора Вольгемута, уговаривать противных,

сварливых пациентов, помогать Вольгемуту, осматривать рты с гнилыми зубами, ковыряться в них, и все это с любезной улыбкой. Она считает себя человеком спокойного нрава, но ей непонятно, как может Зепп так невозможно мириться с этой жизнью.

В соседней комнате просыпается сын. Анна, раз уж она не спит, могла бы, собственно, тоже встать. Но к Перейро надо прийти свежей, а если не позволишь себе иногда полежать подольше в постели, через два года превратишься в старуху. Нет, лучше уж полежать.

Она слышит, как мальчик — она так же упорно называет Ганса мальчиком, как Зепп называет его мальчуганом, — плещется в маленькой ванной, умывается. Он, конечно, наденет трусы, все его приятели в лицее считают шиком носить трусы, но лучше было бы, если бы он пренебрег этим шиком и надел кальсоны, чтоб не простудиться. Однако она подавляет в себе желание сказать об этом Гансу. Он мальчик разумный, но только станешь его в чем-нибудь убеждать, как он упрется — и ни с места.

Ганс входит в комнату. Лицо у Анны вспыхивает радостью. Он невысокого роста, но широк в плечах и крепок; глубоко сидящие глаза и густые брови — и то и другое от отца — придают его лицу мужественное выражение, не по годам серьезное. Анне немного неловко лежать с Зеппом в кровати в присутствии ее мальчика; ей также неприятно, именно перед ним, что он видит ее седеющие, нечесанные волосы.

У Ганса свежий вид, он выспался. Предложение Зеппа вместе приготовить завтрак он отклоняет добродушно, чуть свысока:

— Брось, Зепп, какая от тебя помощь, ты только мешаешь.

Отец обращается с ним как со взрослым и разрешает называть себя Зеппом.

Во время завтрака идет оживленный разговор о горестях и радостях лицейской жизни. Больше всего отравляет жизнь юным эмигрантам, посещающим французские школы, незнание языка. Ганс одолел это препятствие быстрее других, и хотя иной раз ему еще дают почувствовать, что он иностранец, бош, но все-таки он освоился в лицее скорее, чем ожидал. Он уже многое наверстал, и если раньше ему приходилось сидеть на одной скамье с французскими ребятами на два года моложе себя, то теперь он уже

скоро, возможно к восемнадцати годам, сможет сдать экзамен на бакалавра. Вокруг подготовки на звание бакалавра — «башо», как здесь говорят, — вокруг планов Ганса и вертится разговор за завтраком.

Время проходит быстрее, чем хотелось бы Анне. Она огорчена, когда Ганс поднимает глаза на часы. Это красивые, небольшие настенные часы из ценного дерева, украшение всей квартиры. Она подарила их как-то Зеппу к дню рождения, и Зеппу они нравятся; они очень простой формы, и их негромкое тиканье бодрит его. Часы принадлежат к тем немногим вещам, которые они спасли, которые им удалось вывезти из Германии.

Да, пора, Гансу нужно идти. Он берет свой портфель.

— Кстати, мама, ты заметила, что я заделал окно? Теперь уж наверняка дуть не будет. — Его угнетает, что он, чрезвычайно занятый школой и другими важными для него делами, не имеет возможности, хотя ему почти восемнадцать лет, заработать для семьи несколько су. К счастью, у него ловкие руки и хотя бы в хозяйственных мелочах он может помочь своим.

Пока Ганс не ушел, пока он болтает, невзрачная комната наполнена жизнерадостным светом его восемнадцати лет. Но едва мальчик исчезает за дверью, как сотни будничных мелочей с новой силой обрушиваются на Анну. На столе — остатки еды и грязная посуда; Анна, всегда такая аккуратная, не притрагивается к ней. Молоко не допито; надо надеяться, что мадам Шэ, их приходящая прислуга, не сделает обычной глупости и не нальет свежее молоко во вчерашнее. Анна уже несколько раз говорила ей об этом; но Шэ молода, у нее в голове одни только мужчины, она безалаберна, вечно повторяет все те же глупости. А у Анны нет времени поискать замену мадам Шэ и расстаться с ней.

Гнусно, что приходится забивать себе голову такими мелочами, вместо того чтобы интересоваться музыкой Зеппа. Анна лежит с закрытыми глазами, можно подумать, что она мирно спит. Но в голове у нее роятся мрачные мысли. Ее гложет, что юность мальчика проходит в такой жалкой обстановке, что он видит ее в постели с Зеппом, что волосы у нее не покрашены. Покрасить волосы — это тридцать франков. Что такое тридцать франков? Пустяки. Но теперь приходится думать о том, что на тридцать франков можно купить пять кило рыбы, или два кило масла, или

шестнадцать кило хлеба; хорошая комната стоит в день тридцать франков, на эти деньги можно сделать сорок концов в метро или три раза сходить в кино.

Анна, правда, примирилась с тем, что теперь все не так, как было раньше, она в состоянии, и даже нередко, смеяться весело и от души, она и не думает унывать. Но у нее невольно вырывается вздох, когда она вспоминает, что Зепп в Мюнхене зарабатывал эти самые тридцать франков в пятнадцать минут. Теперь ей приходится за тридцать франков работать почти целый день и затем два дня высчитывать, как и на чем сэкономить, чтобы покрасить волосы.

Зепп обо всем этом не тужит. Сотни мелких тревог не терзают его целыми днями, не мешают спать по ночам, они над ним не властны. Его не интересует, что для мира он уже никто; внутренне Зепп — все тот же. Нынче, через два года после переворота, он окончательно забыл, какую роль играл в музыкальной жизни Германии. Она не плачет о прошлом, нет так нет, что миновало, то миновало, но и не строит себе никаких иллюзий. У Зеппа есть музыка, он пишет ее для себя и для нее, а там — работаешь и кое-как перебиваешься. А что до признания, которого Зепп добился на родине, то оно было и сплыло, и здесь, в Париже, оно ему ни на йоту не помогает заработать кусок хлеба.

И все же Зепп был прав, бросив службу тотчас же после прихода Гитлера к власти. Не через день, так через два его все равно выжили бы. И то, что он уехал за границу, было правильно и хорошо. Человек, который и раньше едва переносил все сгущавшуюся атмосферу реакции, вряд ли мог бы жить в стране, где хозяйничают гитлеры. Она с теплым чувством вспоминает, как решительно этот обычно неповоротливый человек все бросил, какое желчное письмо о своем уходе написал министру просвещения. Да и она тогда ни секунды не колебалась и одобрила его решение.

Она и раньше говорила себе, что изгнание — это не краткий эпизод, проникнутый героизмом и пафосом, а долгие, медленно ползущие годы, наполненные мелкими неприятностями. Но к этому присоединились тысячи мытарств, о которых они в Германии и представления не имели. Сколько хлопот хотя бы с такой идиотской штукой, как удостоверение личности. Сроки их паспор-

тов истекли, а «третья империя» не возобновляет их. Сколько бегов, пока раздобудешь бумажку, на которой подтверждено и скреплено печатью, кто ты есть. Сколько часов надо простаивать у окошек, за которыми сидят брюзгливые, усталые чиновники, и мсье Дюпон отправляет тебя к мсье Дюрану, а мсье Дюран, оказывается, тут ни при чем и отправляет тебя к мсье Дюпону, и вся история начинается сызнова, а в результате обнаруживается, что дело твое в совершенно другом ведомстве. Получить постоянное разрешение на право работы почти невозможно; Анна работает у своего зубного врача без разрешения, «зайцем».

Пока они были в Германии, они и не знали, как хорошо им живется в их удобной квартире, как хорошо располагать солидным текущим счетом. Анна привыкла сводить абстрактные философские истины к простым формулам; пессимизм индийцев или Шопенгауэра, над которым долго бился Зенн и о котором он много рассказывал Анне, для нее укладывался в простую истину, что, если у тебя болит палец, ты страдаешь, но, если палец не болит, ты не испытываешь от этого радости. Этот лишенный всякой сентиментальности пессимизм теперь находил свое подтверждение в действительности. Прежде, в Германии, ей казалось естественным жить в довольстве, в изобилии. Теперь она не плачется на перемену, но ощущает ее на каждом шагу.

За дверью что-то царапается и шуршит, почтальон просовывает в щель письма. Траутвейн тотчас же бросается к ним, вскрывает их, читает — с многочисленными «гм» и «ага». Почта довольно обильная, но Анна знает, что только очень небольшая часть писем имеет личное отношение к Зенну, все остальное — приглашения на политические собрания, просьбы о деньгах, о рекомендациях, эмигрантские дела. Как ни плохо тебе живется, а всегда найдутся люди, которые считают тебя богатым и счастливым.

Он весь уходит в чтение писем; о присутствии Анны он совершенно забыл. Дочитав письма, берется за газеты. Каждое утро эту страстную натуру волнует и забавляет глупость мира, выпирающая из газетных сообщений. Вот он опять что-то выудил. Он прицеливается языком.

— Нет, ты только посмотри, Анна! — У него звонкий голос, а от радости он переходит на фальцет. — Уж это — дальше некуда! — Он протягивает ей «Берлинер иллюстрирте», показывая

снимок на титульном листе: властители «третьей империи» слушают концерт. Музыка обезоружила их, лица у них пустые, тупые, сентиментальные. Великолепный снимок, он обнаруживает все существо этих людей; музыка обнажила их, все их жалкое нутро вывернуто наружу. Анна невольно смеется, смеется по-детски заразительно. Ее широкое лицо с крупными белыми зубами сияет. Когда Анна смеется, оно молодеет.

— Они могут обзаводиться какими угодно титулами, а физиономии у них все те же, — замечает она.

Зепп Траутвейн продолжает ликующе:

— Им ничего не поможет, волей-неволей они сами выставляют напоказ свой позор. Этот снимок надо распространять, о нем надо писать. Я напишу, — решает он, загораясь, как юноша, весь — рвение и пыл. — Скажи-ка, — он уже готов приступить, — ты свободна? Можно продиктовать тебе статью?

Беда с этим Зеппом. Он опять забыл, что она, к сожалению, занята у доктора Вольгемута. А потом еще визит к Перейро, нельзя недооценивать этого дела насчет радиопередачи.

— С величайшим удовольствием отстучала бы тебе статью, — говорит она огорченно. — Мы, конечно, опять поругались бы. И все равно самые убийственные грубости я у тебя повычеркивала бы. Но Вольгемут, Перейро... — Она пожимает плечами, ее выразительное лицо живо отражает сожаление.

Он спохватывается.

— Ну конечно, ведь у тебя сегодня еще и визит к Перейро. Бессовестно, что я забыл, — горячо говорит он. Но в следующую минуту уже думает о другом. — Замечательная будет статья, — радуется он заранее.

Анна критически оглядывает пишущую машинку. Валик стерся, необходимо его заменить, да и еще кое-что не мешало бы исправить. Тут не только расходы: трудно обойтись без машинки, пока ее будут чинить.

Он тем временем встает и идет в ванную умыться и побриться. Бриться он не любит, Анна с трудом добилась, чтобы он брился каждый день. Вот и сейчас он охает. Оптимист и сангвиник, он, конечно, прежде всего бреет удобную поверхность щек. Затем остается самое трудное — углы рта. Надо сжать челюсти, запрокинуть голову и глядеть в оба.

— Чертов хлам, — ругает он бритву, так как без маленького пореза дело не обходится. Но в следующее мгновение, обтирая лицо, он снова с удовольствием думает о предстоящей работе. — У меня уже руки чешутся, — кричит он, довольный, из ванной. — Новая идея для «Персов»; придется переписать пятнадцать страниц партитуры. До редакции я успею набросать, пока это свежо, самое основное. А статью продиктую там. Она еще поспеет в набор.

Анна слушает его, она гордится, что он так добросовестно работает, не позволяет себе ни малейшей небрежности, опять и опять начинает сызнова, если может хоть на волос приблизиться к цели, которую себе ставит. И вместе с тем она понимает, что практически его работа бессмысленна.

Выиграют или проиграют от переделки эти пятнадцать страниц партитуры, кому какое дело? Если с радиопередачей не выйдет, то, кроме Анны, эти несколько исправленных страниц услышат, может быть, еще три или четыре приятеля. Что за проклятая судьба, обрекающая такого одаренного человека, как ее Зепп, работать впустую! И статья насчет физиономий, которую Зепп собирается написать для «Новостей», ему, наверное, удастся, это будет хлесткая, остроумная статья, достойная, чтобы ее прочли во всем мире, но при нынешних условиях в лучшем случае две-три тысячи читателей полминуты порадуются, что кто-то поддел берлинскую сволочь, — вот и все. Сознает ли это Зепп? Если даже и сознает, это его мало трогает. Он окрылен. Он работает так, как будто его «Персы» уже в этом году пойдут в Филармонии, а статья появится по крайней мере в «Таймсе».

Вот он выходит из ванной. Длинный и широкий халат висит на худощавой, высокой фигуре Зеппа, он очень ему идет. Когда-то халат этот был элегантен, теперь он сильно поношен. Зеппу давно следовало бы купить новый, думает Анна, но, даже когда были деньги, трудно было заставить его прилично одеться; теперь же безденежье служит ему удобным предлогом не обращать внимания на свою внешность.

Он уютно усаживается в старое расшатанное клеенчатое кресло, снова берется за газеты, вытягивает ноги. Она смотрит на него. Десять минут она может еще полежать, потом начнется ее день, неприятный день, суетливый, напряженный. Эти десять ми-

нут она еще насладится покоем. Она потягивается, нежится в тепле постели, молчит. Да, как подумаешь о других, так тебе живется еще сравнительно хорошо. Чего не дала бы, например, ее приятельница Элли Френкель за то, чтобы иметь возможность поваляться так в постели, зная, что она обеспечена на несколько недель вперед. В Берлине, до переворота, Элли на руках носили, а теперь она бьется как рыба об лед, только бы не умереть с голоду. Сколько жалких, напрасных усилий она прилагала, стараясь скрыть свое положение у Гиршбергов, и все-таки все знали, что она там не больше чем прислуга. А теперь она была бы довольна и этим. Надо как-нибудь опять встретиться с Элли.

Зепп Траутвейн между тем читает газеты, позабыв все на свете; он поджал длинные губы, и стянутый рот придает ему озабоченный и чуть-чуть смешной вид. Выражение его лица быстро меняется, отражая целую гамму ощущений. Он то ворчит про себя, то издает какое-то короткое рычание, то покачивает головой.

— Идиоты! — Затем опять чему-то кивает и говорит убежденно: — Великолепно! — Вдруг он прерывает себя, лицо его озаряется, угловатой неловкой походкой идет он к письменному столу и, насвистывая, усиленно качая в такт головой, записывает какую-то мысль, которая только что пришла ему в голову.

Анна, вздыхая, подымается с постели. Приводит в порядок обе комнаты. Потом идет в маленькую, очень узкую ванную; ванная служит ей и кухней, это неудобно и неаппетитно, но что поделаешь? Анна накладывает румяна и пудрится, молча, тщательно. Отражение в зеркале мутное и нечеткое, зеркало плохо освещено, но достаточно хорошо видно, что черты лица у нее расплылись, глаза потускнели. Будь она господин Перейро, ей эта Анна не понравилась бы. Правда, никогда нельзя знать, на что реагирует мужчина. Когда она хорошо настроена, когда она смеется, показывая свои красивые, крупные белые зубы, то производит впечатление еще совсем молодой.

Анна готова, надевает пальто. Она стоит — стройная, чуть-чуть пополневшая, но еще такая яркая, такая представительная; нужен наметанный женский глаз, чтобы увидеть, каких стараний стоило прикрыть места, где вытерся мех на шубе.

— Надо заранее приготовить нотный материал, на случай если состоится радиопередача, — говорит она. — Иначе в последнюю минуту из-за такого пустяка все может провалиться.

Он с трудом отрывается от своих мыслей, бормочет что-то вроде «гм» и «ну, конечно, как знаешь». Но она настаивает.

— Это обойдется довольно дорого, — деловито добавляет она.

— Я подумаю, — говорит он со скукой в голосе, чуть ворчливо. Тогда она решительно заявляет:

— Лучше уж я поговорю с мсье Перейро. Для него это пустяк.

Зеппу неприятно.

— Стоит ли этого вся затея? — говорит он нерешительно.

— Да, стоит, — твердо заключает она.

Она поворачивается, собираясь уходить. Но тут он поднимается и, должно быть, только теперь видит ее по-настоящему.

— Ты великолепна, — восхищается он, искренне любуясь ею. — И как только ты ухитряешься, не понимаю. Смотри, не очень надрывайся, старушка, — советует он ей сердечно, с выражением дружеской заботы на худощавом лице. Он называет ее «старушкой», произнося всю фразу на баварском диалекте, отчего она звучит как интимная ласка, и, улыбаясь, прибавляет: — Мне не следовало этого говорить, но, право, если ничего не выйдет с дурацким радио, особенно горевать не буду. Значит, до свиданья, старушка, желаю успеха. И кланяйся Перейро, но только в том случае, если он твердо скажет «да».

С ее уходом он почувствовал себя особенно славно. Он привязан к Анне. Когда ее нет дома, он очень скоро начинает ощущать ее отсутствие; с теплым чувством думает он о том, как часто она была ему опорой в хорошие и плохие времена, вспоминает о бесчисленных часах общей работы и общих радостей. Но когда живешь втроем в двух комнатухах, когда день и ночь сидишь друг у друга на голове, то совсем не худо иногда побыть одному. Он стремительно шагает взад и вперед, это нелегко в тесно заставленной комнате, но он лавирует между вещами. Он всецело поглощен своими мыслями, шум за стеной и на улице несколько ему не мешает.

Благословенное утро сегодня, он на целых два часа предоставлен самому себе. Не такое уж расточительство, если он позволит себе побездельничать и немного поразмыслить. Время от времени ему это необходимо, это действует на него благотворно, иначе невозможно было бы жить.

Он садится в расшатанное клеенчатое кресло, сидит в неудобной позе, но ему удобно. Тихо тикают часы, красивые часы, которые удалось вывезти из Германии; минуты бегут, а он размышляет. Время от времени необходимо произвести внутреннюю инвентаризацию. Без всякого педантизма, конечно, ни-ни, без точных формулировок. Но все же у него есть своего рода мерило: он пытается отдать себе отчет в том, вырос ли он как художник за эти два года жизни в изгнании.

Анна иногда утверждает, что, по-видимому, «Персы» теперь еще дальше от завершения, чем два года назад, и до известной степени она права. И все же он шагнул вперед. Он стал еще строже к себе, он почти так же строг, как Анна; он работает еще медленнее, но лучше, правильнее. Честно испытывая себя, он может сказать, что ни на волос не заботится о внешнем впечатлении, что творит не ради успеха, а ради самого творения.

Он посмеивается над Анной, над ее хлопотливостью, ее энергичными усилиями добиться исполнения «Персов» по радио. Она ведь знает, что может дать такая радиопередача. То, чего он добивается, можно выжать даже из хорошего оркестра лишь после многих репетиций. Как же он вырвет желанное у равнодушных оркестрантов при двух-трех наспех проведенных репетициях? Если бы ему и удалось добиться приличного исполнения, слушатели не готовы к восприятию его музыки. Их уши и сердца закупорены салом и грязью дешевых, вульгарных, сентиментальных и трескучих мелодий. Напрасный труд. Из десяти слушателей восемь воспримут его музыку как кошачий концерт, один вежливо попытается что-то понять, и лишь один, может быть, действительно поймет.

Зепп Траутвейн сидит в своем продавленном кресле. Неплохо было бы со стороны послушать собственную музыку. Но внутренним слухом он слышит ее — это не воображение, это так и есть. Мелодия, которую он нашел сегодня утром, звучит в нем. Он слышит стихи Эсхила и их музыку, слышит громкий грозный боевой клич греков, которые приканчивают барахтающихся в море персов, слышит горестные вопли тонущих, их «ай-ай» и «у-лу-лу», весь этот экзотический разноголосый вой, он не работает, и все же звуки с невероятной интенсивностью струятся вокруг него, в нем. Он сидит с невидящим взглядом, с отсутствующим